





Рис. 1. Панно на станции метро «Боровицкая», Москва (1986), фото Adrienne M. Harris, 2007, воспроизводится с разрешения автора

# Предисловие

В январе 1986 года в центре Москвы, неподалеку от Кремля, распахнула свои двери москвичам и гостям столицы новая станция метро «Боровицкая». Интерьер призван напомнить облик средневековых кремлевских палат, а в центре станции нельзя не заметить огромное барельефное панно цвета золота и обожженного кирпича, изображающее дерево с кроной в виде карты СССР, растущее из башен Московского Кремля. В кроне дерева расположились пятнадцать бесстрастных фигур в национальных костюмах, символизирующих пятнадцать союзных республик. Панно передает не совсем привычный взгляд на национальную идентичность: это не идущая снизу общность, из которой образуется государство; нация в Советском Союзе — это дерево, которое сажает, растит и держит под присмотром государство, чьим символом здесь выступает Кремль.

1986 год памятен прежде всего аварией на атомной станции в Чернобыле. При Михаиле Горбачеве, в последние годы существования Советского государства, молчавшие прежде нации Союза получили право голоса, право знать и обсуждать болезненную правду о прошлом и настоящем. Проводя свою политику гласности, открытости и прозрачности, Горбачев надеялся реформировать и возродить к жизни управляемую им многонациональную империю. Вместо этого он положил начало невысказанным ранее спорам о самоидентификации и самоопределении наций, что вскоре и привело к распаду Советского Союза. С одной стороны — бессловесные представители разных наций на древесной кроне панно, с другой — люди, внезапно по всей стране начавшие открыто выражать свои взгляды, обсуждать и спорить о наболевшем. Ничто лучше этого не скажет нам о подавляющей

мощи советского русскоцентричного государства в его стремлении определять, формировать и распоряжаться самосознанием наций. По мнению представителей многих наций, полномочия центра были гипертрофированы, он взял на себя слишком много власти, и нации начали сопротивляться его силе. Русские же, в свою очередь, ставили под сомнение свою собственную идентичность. С распадом Советского Союза в 1991 году понятия периферии и границ, реальных и символических, стали ключевыми в размышлениях русских о том, кто они такие. В этой книге рассматривается, каким образом и по каким причинам эти понятия стали так важны для русской идентичности.

Постсоветский период отмечен резким и существенным изменением семиотической системы символов и обозначаемых ими ценностей, выражающей размышления об идентичности. В отличие от советской идентичности, которая определялась властными и *временными* рамками и связывалась с представлением о советском государстве в авангарде истории, постсоветская дискуссия о русской идентичности развернулась в *пространственных* метафорах территории и географии.

В этой книге мы обращаемся к сущности современной русской идентичности в ее связи с постоянной главенствующей ролью централизованного российского государства. Соглашаясь с тем, что понятие национального государства не имеет отношения к российскому историческому опыту, мы рассматриваем закономерности географической и геополитической метафорики, чтобы понять, как крупные мыслители и деятели культуры конструируют постсоветскую русскую идентичность, будь то в пределах понятия нации или этнической принадлежности либо в каком-то ином виде сообщества.

Тут мы увидим живой взаимообмен и смесь возродившихся ветхих взглядов и свежих мнений, получивших новую силу благодаря смелым призывам Горбачева, а позднее Ельцина к гласности и общественному диалогу. Мы услышим эссенциалистские высказывания об идентичности, в частности в трудах А. Дугина по неоевразийскому империализму, А. Проханова по русскому ультранационализму, а также познакомимся с конструктивист-

скими формами русскости, наиболее настойчиво выражаемыми М. Рыклиным в его постструктуралистской концепции «границы», с магическим мультикультурным реализмом Л. Улицкой и яркой гражданственностью журналистки А. Политковской.

Многие крупные авторы выходят за пределы традиционных концепций нации, в которых она определяется языком, родством, этнической группой, общей историей, хотя практически для всех географическая территория и ее символическое значение остаются главной характеристикой национальной идентичности, и неважно, верны они ей либо подвергают сомнению. Конструктивистская модель порой выдвигает концепцию русскости, напоминающую так называемую дефисную идентичность, известную в США с 1970-х годов, и — в некотором роде — гибридную идентичность в постколониальной теории<sup>1</sup>. В современном многоэтническом американском обществе каждый человек не просто «американец», но, например, «афроамериканец» или «американец китайского происхождения», то есть здесь объединены как юридические, так и этнические аспекты самооценки. В российском контексте подобный подход к идентичности возникает через метафоры территориальной границы или периферии.

В 2005 году, спустя почти два десятилетия после провозглашения гласности, президент В. Путин объявил распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой прошлого [двадцатого] века», «драмой российского народа», поскольку многие из «сограждан и соотечественников» неожиданно «оказались за пределами российской территории»<sup>2</sup>. Путин, говоря о «российском народе», конечно, не случайно употребил юридический термин «российский», подразумевающий гражданство Российской Федерации, а не этнический термин «русский». Выбирая слово, Путин вновь конструировал нацию / народ таким

<sup>1</sup> Положительную оценку дефисной идентичности применительно к данной ситуации см. [Strasheim 1975]. Качественное изложение понятия гибридной идентичности см. [Bhabha 2004: 55].

<sup>2</sup> URL: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml> (в настоящее время ссылка недоступна).

образом, чтобы привязать понятие русскости к государству и государственной власти, игнорируя этнические конструкторы нации как древнего образования, предположительно независимого от государства, основанного скорее на языке, религии, общей истории и генетическом родстве. Казалось бы, обещая гражданское равенство для всех этнических групп под флагом российского гражданства, Путин выбирает слова, напоминающие о давней государственной традиции определения российского государства как доминирующего института русскости. Его слова напоминают о том же противоречии, что и панно на станции «Боровицкая», предупреждая о трудностях определения «русской идентичности» в постсоветской России. Считать ли «юридическую», то есть определенную государством национальность окончательным, утвержденным высшей инстанцией определением национальной идентичности? Определяется ли нация территориальными границами, установленными государством? Или же, напротив, все субъекты, независимо от их этнического происхождения, в этом смысле одинаково «русские» и, следовательно, равно защищены федеральной Конституцией и российским законодательством?

С середины 1980-х годов подобное представление о русскости, подразумевающее, что человек как гражданин российского государства, автоматически становится русским, одобряется одними интеллектуалами и подвергается суровой критике со стороны других. Для некоторых ультраконсерваторов, вроде неонациста Дугина и ультранационалиста Проханова, российское имперское государство — важнейший предмет гордости русских. Другие, как Рыклин, Улицкая и Политковская, разоблачают притязания государственной власти, подразумевающие, что этнические различия не имеют значения, и внедряют в постсоветскую дискуссию утверждение, что все граждане, независимо от их этнической принадлежности, имеют права и должны их активно отстаивать, во многих случаях защищая их от посягательств государства.

Смысл преобладающих в современном дискурсе об идентичности географических метафор заключается в следующем: чтобы

установить, *кто* является русским, нужно понять, *где* находится Россия, и этому месту, как бы оно ни определялось, приписываются всеобъемлющие ключевые ценности. К ведущим метафорам традиционно относятся имперские термины центра и периферии. В постсоветском мышлении заметно выделяются две географические оси: «север — юг», и хорошо известная всем «восток — запад». Кроме того, возникают два новых набора метафор: «Евразия против Запада» и геополитическое противостояние «материк против побережья». Они получают широкое распространение на фоне намерений восстановить Россию в качестве глобального силового центра. Образ «края», где, как можно предположить, постсоветская Россия, согласно опасениям многих русских общественников, и находится, имеет как географическое, так и психологическое значение. Многие русские, в 1990-х годах перестав быть в центре Советской империи, забеспокоились о том, что они окажутся на обочине, «на краю». «Край» подразумевает также и тревогу, вынуждающую многих постоянно искать подтверждение того, что именно Москва является центром силы и великой столицей империи.

Почти через 175 лет после знаменитого «Философического письма» П. Я. Чаадаева (1836), где он сожалел по поводу отсутствия национальной идентичности в России, некоторые российские авторитетные ученые и публицисты все еще пишут так, как будто они боятся остаться затерянными между великими восточными и западными цивилизациями. Россия находится на краю, как и ее самые рьяные и тревожные ультраконсервативные ревнители.

Эта книга задумывалась как поиск преемственности в спекулятивной философской традиции России после падения советского режима. Вопрос касался корпуса идей великих мыслителей предреволюционного «русского Возрождения» — Соловьева, Бердяева, Шестова, Розанова и многих других — и их возможной роли как собеседников современной культуры. В конце 1980-х и в 1990-е годы российские интеллектуалы отдалились от них, в поисках решения вопроса о своей русской идентичности отдавшись иным проблемам и заботам, вкусив запретных ранее плодов

более поздней русской и европейской мысли. На этот раз вопрос звучал по-другому: не «что есть», а «где есть» русская идентичность и, перефразируя мысль популярного в массах Пелевина, «почему она в беде» [Пелевин 2000: 179]<sup>3</sup>. Выбор теорий был широк: от сформулированного группой ученых-эмигрантов евразийства 1920-х и 1930-х годов до европейской неофашистской философии, буддизма и французского и американского постструктурализма.

Эта книга построена по принципу последовательного изложения противоположных точек зрения в спорах о постсоветской русской идентичности. Во введении представлены основные ориентиры — метафоры «центра» и «периферии», а также присущий каждой из них потенциал. Менее известные определения, данные русскими семиотиками и постмарксистскими мыслителями, введены в контекст более известных современных постмодернистских и постколониальных формулировок, чтобы показать общую для всех инновационную ориентацию на периферию и идеологическую децентрализацию.

Глава 1, «Деконструкция имперской Москвы», рассматривает варианты философской и литературной деконструкции понятия советской Москвы и содержащиеся в них предположения о природе русской идентичности. Здесь проводится грань между Москвой как центром империи и Москвой глазами обычного человека. Мы начинаем с трех произведений позднесоветского времени, бросающих вызов центростремительной силе столицы: это повесть Вен. Ерофеева «Москва — Петушки» [Ерофеев 1971], сатирическая антиутопия В. Войновича «Москва 2042» [Войнович 1987] и поэтический цикл Д. А. Пригова «Москва и москвичи» [Пригов 2002]. В новаторском эссе «Тела террора» [Рыклин 1992] философ М. Рыклин разбирается в архитектурных «телах» сталинской Москвы и обнажает скрытый в них подсознательный ужас терроризации. Завершается глава рассмотрением исчезновения Москвы в двух значимых постсоветских литературных

---

<sup>3</sup> А. Солженицын также говорил о «России в беде» [Солженицын 1994; Alenworth 1998: 62].

произведениях: блестящей новелле В. Пелевина «Девятый сон Веры Павловны» [Пелевин 1991] и широко обсуждавшейся дистопии «Кысь» Т. Толстой, продолжательницы династии Толстых [Толстая 2000].

В главе 2, «Постмодернистская империя встречает Святую Русь», представлен главный жупел в спорах об идентичности — А. Дугин, ультраконсервативный публицист и политолог, чьи неоимперские евразийские идеи нередко влияли на путинский Кремль. В своих главных работах — «Мистерии Евразии» [Дугин 1996], «Основы геополитики: геополитическое будущее России» [Дугин 1997], «Абсолютная родина» [Дугин 1999] — Дугин развивает русскоцентристскую мечту о будущем евразийской империалистической государственной системы, сосредоточенной в Москве, на российском Севере и в Восточной Сибири.

Следующие три главы посвящены морально и политически значимым ответам на неоимпериалистический сценарий, сторонником которого выступает, среди прочих, Дугин. В центре внимания третьей главы — известный роман Пелевина «Чапаев и Пустота» [Пелевин 2000]. Пелевин деконструирует евразийское понимание азиатской периферии, а заодно и русско-советскую авторитарную психологию. В четвертой и пятой главах рассматриваются две периферии бывшей империи, оказавшие решающее влияние на русскую культуру, но при этом приводившие в ярость ультраконсерваторов — западная граница России и Черноморское побережье.

В главе 4 анализируется комплексная концепция границы, разработанная М. Рыклиным в его наиболее весомых работах: «Пространства ликования: тоталитаризм и различие» [Рыклин 2002б], «Время диагноза» [Рыклин 2003] и «Свастика, крест, звезда» [Рыклин 2006]. Анализ Рыклина сосредоточен в основном на западных границах Советского Союза и их значении как для его личной идентичности, так и для национальной идентичности в советскую и постсоветскую эпоху.

Потенциал периферии в литературном творчестве Л. Улицкой составляет тему пятой главы. В двух главных своих романах, «Медея и ее дети» [Улицкая 1996] и «Казус Кукоцкого» [Улицкая

2001], а также в ряде блестящих рассказов Улицкая раскрывает культурное богатство Черноморья, метапериферии многих империй, что может многое поведать о характере периферий вообще и о том, как они ставят под вопрос ценностный код, связанный с центром, и расширяют общественное сознание и творческую энергию. В книгах Рыклина и Улицкой появляется понятие русской самоидентификации, основанной на межэтнической терпимости и гражданских правах.

В заключительной главе рассматривается «белое пятно», «зона умолчания» новых правителей России, которую я называю «чужим югом». Это мусульманский Кавказ, особенно Чечня, место двух разрушительных войн, которые, как утверждает Рыклин, помимо разгрома одного из периферийных регионов России, привели к стремительному подавлению общественного диалога, обезмолвлению и рецентрализации российской прессы и возвращению тайной полиции, вооруженной новыми полномочиями.

Отказ пристально взглянуть на это «белое пятно», глубоко укоренившийся страх перед иной культурой дали российскому руководству повод вернуться к централизованному государственному управлению. Художественное и документальное освещение чеченского конфликта проходит три этапа: от дискредитации устаревшего советского универсализма в повести В. Маканина «Кавказский пленный» до утверждения гражданского универсализма в ряде произведений, равно как и демонизации чеченцев в популярной литературе и фильмах начала XXI века. Дискуссия о «чужом юге» привела к тому, что споры о самоидентификации дошли до нынешнего тревожного состояния.

Эта книга написана благодаря помощи многих людей и организаций. Автор выражает благодарность нескольким организациям за предоставление свободного времени для исследований и написания книги: Центру исследований Канзасского университета и Национальному фонду гуманитарных наук за летние стипендии и Американскому совету ученых обществ за годовую исследовательскую стипендию.

Я благодарна своим коллегам, друзьям, своей семье и студентам, которые поддержали этот проект. Мария Карлсон, Уильям

Комер, Марк Л. Гринберг, Ив Левин и Ирина Федюнина-Сикс поделились своими богатыми знаниями и были рады в любой момент обсуждать со мной русскую идентичность. Римгайла Салис, Марк Лейдерман, Бен Сатклифф, Олена Червоник и Алиса ДеБласио были моими сведущими и отзывчивыми товарищами по изучению постсоветского периода. Адрианна Харрис и Сэм Ключ Хьюнеке помогли на последних этапах исследования. Нед Хьюнеке поспособствовал окончательному редактированию. Сара Бумпус, Сидней Демент и Адрианна Харрис представили фотографии Московского метрополитена.

Я благодарю Джона Берта Фостера — мл., Джоан Дилейни Гроссман, Джорджа Л. Клайна, Джудит Дойч Корнблатт, Джея Розелини, Джеймса П. Скэнлэна, Нэнси Титтлер и Джеймса Л. Веста за дружбу и поддержку. Я в долгу перед анонимными рецензентами рукописи за их многочисленные и полезные вопросы и предложения.

Искреннюю благодарность выражаю Джону Акерману, директору издательства Корнельского университета, за его видение и решительную поддержку славянских и восточноевропейских исследований в то время, когда издательский бизнес, кажется, находится в бесконечном кризисе на фоне вызовов цифровой эпохи.

# Сокращения

- Б — Улицкая Л. Бедные, злые, любимые. М.: Эксмо, 2006.
- ВД — Рыклин М. Время диагноза. М.: Логос, 2003.
- ГГ — Проханов А. Господин Гексоген. М.: Ad Marginem, 2002.
- ДД — Рыклин М. Деконструкция и деструкция: беседы с философами. М.: Логос, 2002.
- ЗС — Дугин А. Заколдованная среда «новых империй» // Художественный журнал. 2004. № 54. С. 18–25.
- ЗЧ — Политковская А. За что? М.: Новая газета, 2007.
- И — Пригов Д. Избранное. М.: Эксмо, 2002.
- К — Толстая Т. Кысь. М.: Подкова, 2000.
- КК — Улицкая Л. Казус Кукоцкого. М.: АСТ, 2001.
- КП — Маканин В. Кавказский пленный // Новый мир. 1995. № 4. С. 3–19.
- Л — Улицкая Л. Люди нашего царя. М.: Эксмо, 2006.
- М — Улицкая Л. Медя и ее дети. М.: Эксмо, 2003.
- МБВ — Дугин А. Метафизика Благой вести: Абсолютная Родина. М.: Арктогея, 1999.
- МЕ — Дугин А. Мистерии Евразии. М.: Арктогея, 1999.
- ОГ — Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000.
- ПА — Дугин А. Пути Абсолюта: см. МБВ.
- ПЕ — Дугин А. Проект «Евразия». М.: Яуза, 2004.
- ПК — Дугин А. Поп-культура и знаки времени. СПб.: Амфора, 2005.
- ПЛ — Рыклин М. Пространства ликования. М.: Логос, 2002.
- РВ — Дугин А. Русская вещь. М., 1999.
- СКЗ — Рыклин М. Свастика, крест, звезда. М.: Логос, 2006.
- ТТ — Рыклин М. Тела террора (тезисы к логике насилия) // М. Рыклин. Террорологиики. Тарту, 1992. С. 34–51.
- ЧП — Пелевин В. Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 2000.

# Введение

## Россия — центр или периферия?

Распад Советской империи посеял семена неуверенности во многих сферах российской жизни<sup>1</sup>. В 1990-е русские ощутили себя беспомощными, неприкаянными, лишенными чувства национального достоинства. Как шутил Виктор Пелевин в романе «Жизнь насекомых», после 1991 года жители задались вопросом, остается ли Москва по-прежнему «третьим Римом», или же она соскользнула в «третий мир» [Пелевин 2004: 81–82]. Видимо, ответ зависит от того, как прочесть слово: вперед или назад, «Рим» или «мир». Стала ли теперь Москва, которая столь долго была политическим и культурным центром страны и коммунистического мира, всего лишь одним из городов в стороне от центров влиятельной культуры и процветающего национального хозяйства Европы, Соединенных Штатов и Восточной Азии? В защиту от таких сомнений в постсоветской России началось возрождение агрессивного ультранационалистического и неоимперского мышления.

Название «Третий Рим» восходит к московскому правлению XVI–XVII веков. Московские князья то и дело присваивали своему городу императорский титул Третьего Рима, последнего наследника Римской империи и продолжателя православных традиций Второго Рима — Константинополя. Это обозначение,

---

<sup>1</sup> См., напр., [Гудков 1994: 175–187 и особенно 177]. Среди англоязычных публикаций по проблемам постимперской идентичности см. [Lieven 2000: 380–386; Dawisha 1997; Kappeler 2001].

связывающее русскую идентичность с империей, религию — с государством, столицу — с центром империи, в постсоветской России нашло отклик в ультраконсервативном дискурсе А. Дугина и многих других<sup>2</sup>. Напротив, многие видят в России немало признаков страны «третьего мира». Л. Улицкая, в частности, плодотворно работает с понятиями периферии, провинции и границы с их богатым мультикультурным и многонациональным потенциалом, способным бросить вызов шовинизму центра. Философ М. Рыклин рассматривает границу как один из важнейших аспектов идентичности. В своей документальной журналистике А. Политковская заставляет русских взглянуть на опыт брошенных на произвол судьбы меньшинств, особенно чеченцев, обратить внимание на многочисленные случаи маргинализации и лишения гражданских прав всех российских граждан со стороны их собственного государства.

С начала 1990-х годов сформировались резко противоположные взгляды на то, что значит «быть русским». Одни чувствуют тоску по Москве как центру империи, другие пользуются более «децентричными» представлениями о крае, периферии и границе, переосмысливая значение столицы и отходя от прежних царских и сталинских парадигм и культурных ценностей с их стремлением к уравниловке и русификации. Какой бы ни была та или иная точка зрения на проблему идентичности, с конца 1980-х годов мы видим кардинальные перемены в том, как в русской письменной культуре формируется национальная личность. В советское время официальная идентичность опиралась на метафоры времени, например на принадлежность к «светлому будущему», на образ «локомотива истории», летящего вперед к коммунизму, или молниеносной ракеты, устремленной в космические просторы. Постсоветский общественный дискурс, будь

---

<sup>2</sup> Об историографической неоднозначности темы Москвы как Третьего Рима см. [Rowland 1996]. Хотя само название появилось еще в 1511 году, москвичи еще долго склонялись к тому, чтобы видеть в своем городе Новый Иерусалим, или Новый Израиль. Мысль о Москве — Третьем Риме стала популярной в славянофильских кругах XIX–XX веков. Подробный анализ возрожденно-ультранационализма и неоимпериализма см. [Allensworth 1998].

то консервативный или либеральный, отдал предпочтение объединению русскости с понятиями географического и геополитического пространства.

Значение этих пространственных метафор для концептуализации идентичности положено в основу настоящей книги. Я склонна считать, что с 1991 года размышления о национальной идентичности безоговорочно сместились от образов исторического прогресса, демонстрирующих доминирование советского государства в истории, к тому, что можно назвать «воображаемой географией», — географическим и мифическим образам, пропитанным сложным постсоветским восприятием себя и чужих, сочетающим традиции и перемены, этническую принадлежность и мультикультурализм, понятие государства и смысл гражданства. Эти метафоры «воображаемой географии» включают отдельные регионы России, концептуальные противопоставления центра и периферии, центра и границы, геополитические концепции сердцевины страны и привычные географические оси: «восток — запад» и «север — юг» в их традиционном значении, но теперь вписанном в новые ассоциации.

Под конец советской эпохи концепция поступательного развития во времени уже терпела крах, что в какой-то мере совпало с расцветом постмодернистской культуры в капиталистических странах. Если модернизм характеризовался восторгом перед динамичным движением времени, верой в линейный прогресс, то постмодернизму поступательное движение истории уже не представлялось таким актуальным. То, что в герметичных временных рамках могло показаться прогрессом, в более широкой перспективе оказалось похожим на движение вдоль ленты Мебиуса<sup>3</sup>. Человек, которому казалось, что он продвигается по

---

<sup>3</sup> Ф. Фукуяма провозгласил «конец истории» в одноименной резонансной статье 1989 года и в книге «Конец истории и последний человек» [Fukuyama 1989; Фукуяма 2015]. Еще раньше два прорывных литературно-критических произведения привлекли внимание к нарастающей дисфункции понятия «история» как ритуала [Кларк 2002] и объекта пародии [Hutcheon 1988]. Размышления о времени как ленте Мебиуса в экспериментальной прозе последних советских лет см. [Clowes 1993: 60].

стратегически избранному пути, со временем обнаруживает, что вернулся обратно практически к той же точке, откуда начал. Именно такое чувство мы могли испытывать в путинско-медведевское время, после того как наслушались русской мантры 1990-х годов: «Возврат к старому невозможен»<sup>4</sup>. Конечно, русские не вернулись в страну, где владычествовала компартия; они вернулись в страну, где правили псевдопартия и тайная полиция, попирающие гражданские права.

В постсоветском и в постмодернистском мышлении внимание литераторов к пространству становится все более пристальным, да и критики и теоретики все чаще оперируют понятиями центра и края, центра и периферии, империи, границы. В эпоху модернизма идентичность была сосредоточена на эпистемологии, природе знания и вопросе: «Как познать мир, в котором мы обитаем?» [McNale 1987: 6–11]. Постмодернизм, напротив, сконцентрирован на онтологических вопросах о месте и его значимости: «В каком мире я живу и что в нем можно сделать?» Аналогичным образом «воображаемые сообщества» колониального и постколониального мира можно теоретически осмысливать в терминах географии, в частности вдоль оси, соединяющей колонизирующий север и колонизированный юг [Clowes 2001: 195–299; Foster 2002: 2–3]. Более того, в современной академической истории и культурологии акцент также сместился с временного на пространственный, поскольку такая ориентация воспринимается как более важная для понимания идентичности. Авторы новых (и новаторских) исследований, где с помощью «воображаемых географий» определяются «локации культуры», «открытие Европы», изучаются «городские тексты» — история, ландшафты и мифы города — или изучается использование карт в средневековом русском мире, оперируют пространственными терминами<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> См., напр., документальный фильм Ж.-М. Карре и Дж. Эмери [Carré 2007].

<sup>5</sup> В этом ключе с начала 1980-х годов строятся российские исследования городского текста, напр. работы В. Н. Топорова [Топоров 2003]. Формулировка западного взгляда на понятия географического пространства и их при-

В настоящей книге понятие «воображаемая география» [imagined geography] используется для обозначения ряда различных подходов к изучению русской самоидентификации. В 1978 году Э. В. Саид ввел термин «имагинативная география» (imaginative geography), чтобы подчеркнуть недостоверность описаний территорий Востока и привлечь внимание к формированию идентичности Запада через дистанцирование от ближневосточных исламских культур [Саид 2006: 37–53; Layton 1986, 1994; Ram 2006]. Эти заблуждения Саид стремился развеять. Опираясь на концепцию «воображаемых сообществ» (imagined communities) Б. Андерсона, я использую здесь термин «воображаемая география» (imagined geography), чтобы подчеркнуть процесс создания вымышленных пространств Себя и Другого как часть традиционного постижения групповой идентичности. Ведущие участники постсоветского дискурса используют эти пространственные термины при формулировании контрастных идентичностей и переосмыслении вопроса «Кто есть русский?» не в последнюю очередь с помощью попытки ответить на вопрос «Где есть Россия?».

Читатель заметит, что на этих страницах из всех географических и геополитических метафор преобладает образ периферии, ставший острейшей проблемой для постсоветской русской идентификации. При разговоре об имперских пространствах издавна используются традиционные понятия исключительно важного центра и обретающей новую значимость периферии [Lieven 2000; 130]<sup>7</sup>. Подобно тому, как эти понятия играют решающую роль в постмодернистской и постколониальной теории, не менее важная роль отводится параллельным процессам децентрализации и открытия маргинализованных перспектив в другой важной концепции конца XX века с приставкой «пост-»: постком-

---

менение см. [Saïd 1979]. Б. Андерсон отмечает важность карт в формировании концепции колониального господства [Андерсон 2001: 188–196]. Также см. [Bhabha 2004; Wolff 1994; Kivelson 2006].

<sup>6</sup> Пер. А. Говорунова. Термин используется в книге «Orientalism» (1978), издание на русском языке — [Саид 2006]. — *Примеч. ред.*

<sup>7</sup> Ливен рассуждает в терминах «метрополии» и «периферии».

мунизма и постсоветского кризиса идентичности [Clowes 2001: 196–203; Chernetsky 2006].

Центр и периферия приобрели особое значение после распада Советского Союза 25 декабря 1991 года. Прежде доминировавший в СССР русский этнос столкнулся с глубинным страхом оказаться на периферии великих мировых цивилизаций и потерять статус центра силы. С 1989 по 1991 год русские, которые прежде правили крупнейшей в мире империей, лишились сначала своих сателлитов в Центральной и Юго-Восточной Европе, защищавших Советский Союз от предполагаемого вторжения западного капитализма, а затем и четырнадцати бывших советских республик, территориально обеспечивавших защиту как от капиталистического Запада, так и от мусульманского юга.

При рассмотрении значения центра и периферии для постсоветского периода полезно проанализировать их значимость относительно других «пост-»: постмодернизма и постколониализма [Lyotard 1989]<sup>8</sup>. В своей книге «Расчленение Орфея: к концепции постмодернистской литературы» И. Хассан [Hassan 1982] впервые определил модерн как «центрирование», а постмодерн — как «разбрасывание». За прошедшие десятилетия «периферийное» и «маргинальное» перестали обозначать исключительно «застойное», но все чаще ассоциируются с вопросами обновления и инноваций [Hassan 1982: 267–268]. По мере развития постколониальной мысли постмодернистская критика обращается в том числе к социально, этнически и гендерно «маргинализированным» голосам, а также затрагивает лакуны и умолчания, навязываемые центром [Hutcheon 1988]. Согласно постмодернистской теории эти голоса, звучащие с «внецентричных» позиций, подрывают легитимность существующей понятийной централизации, тотализации и иерархизации и создают децентрализованный мир постмодерна, бросая вызов центрам власти, как, например,

---

<sup>8</sup> Лиотар провозгласил смерть «метанарративов Возрождения», социокультурных доминант и объявил «войну целому», в результате которой «локальное» превысит по значимости универсальное, подразумевая новую роль децентрализованного пространства и территории.

описанный М. Фуко «беспорядок», который «незаметно подрывает язык», — то, что Фуко называет «гетеротопией» [Hutcheon 1988: 57–73; Фуко 1994: 30].

Постколониальная теория определяет взаимосвязь между властью и бессилием в географических терминах центра и окраины, часто совпадающих с метафорической осью «север — юг» [Bhabha 2004: xi]. Центр, по крайней мере в Северном полушарии, — это технологии, богатство, политическая власть и идеология; центр истощает периферию, как правило, расположенную на юге, лишая ее своего сырья и собственного традиционного общественного порядка. Колонизирующий центр устанавливает культурные бинарные оппозиции «цивилизации» и «варварства», наделяя себя полномочиями экспортировать свою систему ценностей в колониальную периферию [Bhabha 2004: 119]. В конце XX века эта культурная «улица с односторонним движением» превратилась в «улицу с двусторонним движением», поскольку колонизированные группы переместились в центр в поисках образования и работы, а впоследствии были услышаны и литературные голоса с периферии. В самом оптимистичном сценарии в результате этого обмена возникают культурная новизна и динамика, а в худшем случае — социальное неравенство и волнения в центре [Hutcheon 1988: 12; Bhabha 2004: 10].

Постколониальная окраина, или периферия империи согласно определению Х. Бхабхи в «Местонахождении культуры», задает некие привычные рамки, в которых можно понять постсоветскую проблему периферии. Бхабха отождествляет маргинальность с политически обездоленными гражданами, а также с культурно-экономической «глубинкой», которая обеспечивает центр дешевым сырьем. Часто это самая бедная и наименее развитая часть империи, в отличие от богатого, хорошо образованного центра, столицы империи, которая высасывает богатства и энергию из периферии [Bhabha 2004: xiii–xiv]. В сложных отношениях между колониальным центром и колонизированной периферией Бхабха видит силы, имеющие решающее значение для идентификации правящей нации, в подчинении у которой находится империя: колонизированный Чужой «фетишизируется» в самосознании

нации, что дает ее гражданам неоспоримое чувство принадлежности к группе, возможность самоидентификации по отношению к группам, находящимся «снаружи» [Bhabha 2004: 106]. Бхабха позиционирует центр как динамичное место с прошлым и будущим, с большой исторической целью, способное к изменениям и развитию. Периферия, напротив, — место без истории, без внутренней динамики, где нации погрязли в относительно «нецивилизованном» и закосневшем наборе мифов и ритуалов.

По мнению Бхабхи, в постколониальный период взаимоотношения между периферией и центром могут стать решающими для культурного возрождения. Он обращается к этим противоположащим геокультурным пространствам, чтобы найти за пределами противостояния обусловленный обмен культур путь к другой, более богатой, так называемой гибридной форме сознания, которая может принести пользу каждому из сообществ. Бхабха опровергает традиционный центристский предрассудок, утверждая, что периферия — это место, богатое сюжетами и «дискурсами меньшинства», которые сами по себе могут стимулировать изменения и возрождение в той мере, в какой обитатели центра готовы их воспринять. Решение, которое Бхабха предлагает для ликвидации разрыва между центром и периферией, заключается в том, чтобы открыть эти дискурсы меньшинства для общества, для медиа, сделать их слышимыми и восстановить подавленные воспоминания, которые прольют новый свет на отношения между развитым и развивающимся мирами [Bhabha 2004: 10–13].

Ключевой вопрос для России — действительно ли периферия и ее дискурсы в состоянии стать таким источником культурного возрождения и новизны. На этот вопрос положительно ответил основатель советской семиотики Ю. Лотман, десятилетиями работавший, кстати, на периферии империи, в балтийской провинции, в городе Тарту. Независимо от постмодернистской и постколониальной теорий Лотман разработал концепции центра и периферии в применении к проблеме возрождения культуры [Lotman 1990: 134]. В книге «Семиосфера» [Lotman 1990] в качестве одного из основных структурных элементов своей

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)